

Леонид ГЕРВИЦ

"Поэт — это большое дерево, которое шумит на ветру истории"

Имею ли я право рассуждать о большом поэте при его жизни? Все пятнадцать лет нашего с ним знакомства я и не думал садиться за перо. Но в последнее время появилось столько телевизионных программ и публикаций о Е. Е., что исподволь появилось желание высказаться, рассказать об этом очень неординарном, во многом противоречивом и, безусловно, незаурядном человеке...

Евгений Евтушенко

Наше знакомство с ЕЕ началось с конфуза. Моего. Однажды где-то в конце января 1999 года Марк Митник, президент Международного пушкинского общества в Нью-Йорке, пригласил меня на ужин, предупредив: "Будет Евтушенко". Я был немало взволнован, еще бы — увижу живого кумира времен оттепели, наиболее громкого поэта СССР. Будучи весьма дипломатичным человеком, Митник при этом не упомянул, что предварительно надо будет заехать за ним в Forest Hills, где он тогда жил. По дороге Марк рассказал историю их знакомства пятилетней давности. Евтушенко сам позвонил ему, представился. В ответ у Марка неожиданно вырвалось: "А, Женя?" Просто так — Женя. Евтушенко это ничуть не задело, не обидело.

И вот в назначенный час мы приехали в маленькую квартиру прославленного поэта в Квинсе. Евтушенко казался для нее слишком большим, двигался угловато, необычно переступая своими ногами-ходулями с огромными ступнями (позднее я узнал, что у него 49-й размер). При нас он принимал горсть таблеток из маленькой пластиковой коробочки. Я насчитал штук семь. За разговором о делах Пушкинского общества я с интересом следил за перемещениями Евтушенко, как он занимался сбором бумаг и перекладыванием книг. Видимо, наш приход прервал это занятие. Потом он прошел в ванную, где на веревке сушилась его огромная красная куртка. Сам стирает, удивился я про себя.

В лифте Евтушенко несколько раз окинул меня оценивающим взглядом. Присматривался. А я молча слушал их разговор с Марком.

Дома у Митника нас ждал чудесный ужин, приготовленный его женой Мариной. Обстановка вечера была довольно непринужденной. Евтушенко держался как свой человек, радовался предложенным угощениям. Дожи-

даясь десерта с чаем, мы пересели с ним на диван. И тогда вдруг я ему брякнул, что с моей ранней юности люблю его стихи (и это была правда), а особенно — "Плачет девочка в автомате...". Как это у меня вырвалось, не могу понять до сих пор. То, что произошло потом, тронуло меня до глубины души. Евтушенко с поразившим меня спокойствием просто сказал, что стихи эти не его, а Вознесенского. В его словах не было и тени обиды или злобы на то, как я мог такое ляпнуть. С тех пор, когда я где-нибудь слышу недоброе о Е. А., о его самовлюбленности и гордыне, то не могу в это поверить.

Там же, за гостеприимным митниковским столом, я сделал свой первый набросок к будущему портрету ЕЕ. Евтушенко в это время что-то писал для Марка, сосредоточился. Я показал ему рисунок. И, видимо, ему он понравился: к концу ужина я получил от него в подарок книгу стихов "Медленная любовь" с надписью "Дорогому Лёне Гервицу, с ходу написавшему мой портрет, к сожалению, реалистичный. Подтверждаю суровую правду наброска".

Несколько недель спустя после званого ужина Митник, не имевший своих "колес" и посему очень меня любивший, попросил "подсобить Жене, который хочет купить кому-то велосипед". Я не мог отказать великому поэту в содействии, мы встретились снова и отправились на поиски. Евтушенко знал какой-то магазин, где продавались велосипеды нужной ему марки. Там я стал свидетелем того, как поэты сразу очаровывают женщин, особенно если они говорят на одном языке. Нас обслуживала испаноязычная продавщица, черноволосая и быстроглазая. Е. Е. хорошо владел испанским, много лучше, чем английским, в чем я убедился, посетив его лекцию в Квинс-колледже.

Девушка-доминиканка, а может, пуэрториканка удалилась на несколько минут, а Женя вдруг стал рассказывать следующую историю.

"Когда мы только познакомились с Машей (четвертая супруга Е. Е., — прим. авт.) и стали выходить на люди в Москве, я привел ее к Межирову. Стоя еще в прихожей и вешая наши пальто, Александр Петрович вдруг, обращаясь к Маше, спросил: "Маша, а вы знаете, что Женя — подполковник КГБ?..."

При этом Е. А. соорудил привычную лукаво-загадочную гримасу, выпучил остзейские глазки и закурил губу. Я был в замешательстве

и не знал, что сказать. Но тут появилась наша доминиканка-пуэрториканка-колумбийка-перуанка, и мы, довольные, с новеньким велосипедом отправились к ЕЕ в Квинс.

С тех пор наше общение стало довольно частым. Я подвозил его на концерты и был свидетелем, как его любит мое поколение русско-еврейской эмиграции. И ЕЕ платил ему взаимностью. Он наслаждался восторгом зрителей, куролесил, заигрывая с седовласыми дамами, завороченно на него глядящими. Он всегда был свой среди своих. На концерте, посвященном семидесятилетию Евтушенко, виновник торжества часто сходил со сцены и ходил по рядам с микрофоном. Его невообразимые рубашки, пестрящие, казалось, орнаментами всех народов мира, то здесь, то там мелькали среди его любимых поклонников. А под занавес наступали раздача автографов, объятия, поцелуи.

Евтушенко всегда привозил книжки на продажу. За ними выстраивалась седовласая эмиграция, которая, забыв все горести советской жизни, улыбалась кумиру своей молодости. "Оттепель" светилась на их лицах и была в их отогретых душах.

Как-то неумолимому на выдумки Марку Митнику пришла идея, чтобы я увез нашего друга отдохнуть во Флориду, куда я ежегодно на пару недель летал из Нью-Йорка "отогреться".

Евтушенко отнесся к такому предложению вначале настороженно, но вскоре "милостиво снизошел". Недели через две пришло время заказывать билеты. Евтушенко позвонил. Меня не было дома, трубку взяла жена Ира. Вернувшись, я узнал об их разговоре:

— Звонил Евтушенко.

— Что сказал?

— Чтобы я его больше не слышала и уж тем более не видела.

— А что случилось?

— Устроил мне выговор и закатил скандал за то, что я, желая заказать вам билеты во Флориду, имела неосторожность спросить, как "спеллится" (от англ. spell) его имя. "Как это так, — возмутился он. — У меня в Америке вышло 12 книг, а вы не знаете, как мое имя пишется!..."

И жена закрыла эту тему. Дело было дрянно. Рушились мои планы пригласить Е. А. к себе в мастерскую или домой.

Что ж, на гения это было вполне похоже. Заявление примерно в таком же духе прозвучало еще раз, когда мы уже прибыли и расположились в Палм-Бич.

Все то время, что мы жили на берегу океана, Евтушенко с исступлением писал. Меня поразили его усидчивость и работоспособность. Ритм его работы выходил за рамки моих представлений о поэтическом творчестве. Меньше всего это походило на вдохновение — то была ежедневная черновая работа. Я успевал дважды съездить на пленэр на арендованной "Тойоте" и вернуться, а он все сидел за своим лап-топом, поставив перед собой на письменном столе маленький складень с иконой и фото своих тогда еще малых сыновей, и все тыкал и тыкал клавиши огромным узловатым пальцем. Я его так и изобразил на быстром, в один сеанс, портрете.

Наличие культового предмета все время работы перед глазами — это ли не удивительная деталь? Зная поэзию ЕЕ, я и предполагать не мог, что автор — набожный человек.

Покидал апартаменты Евтушенко, только чтобы утолить голод. Я тоже не терял время зря: ездил на этюды, писал ЕЕ за работой. Бывало, сразу после импровизированного завтрака, как правило, это была яичница с гренками или колбасой, мы оба брались за работу.

Поначалу поэт держал дистанцию и даже заявил мне вдруг, что "сам Сикейрос хотел его писать, да он отказался". Но по прошествии нескольких дней мы уже по очереди колдовали у плиты.

Помню, сидя на диване, я с интересом наблюдал, как его долговязая фигура передвигается в небольшом кухонном пространстве, от холодильника к плите и обратно. Заметив мой пристальный взгляд, он сказал мне нечто пророческое: "Вот станешь ты старым. Пойдешь гулять с внуком. Подойдешь к моему памятнику и скажешь внуку: вот этот дядя мне жарил яичницу". Мы оба рассмеялись — эта перспектива нам казалась в то время такой далекой. Но оба эпизода, с Сикейросом и омлетом, дали понять, сколь высоко (и по праву) он себя оценивает.

Второй портрет "великого поэта современности" у меня получился гротескным. Признаться, глядя на ЕЕ, я не мог удержаться от сарказма: худой долговязый человек с огромными ступнями, одетый в ярко-алый пид-

жак, здоровую кепку а-ля Олег Попов, составленную из секторов цветового колеса, и в шорты из джинсовой ткани, обнажающие его не слишком атлетические ноги, так не вязался с образом признанной знаменитости.

Об этой его манере одеваться писал еще Иосиф Бродский, с явной иронией. Женя мне жаловался, что он к Бродскому лучше относился, чем тот к нему, и даже подарил кожаную куртку, когда тот вернулся из изгнания в Москву и ходил в своем знаменитом ватнике. ЕЕ старался меня всячески убедить, что именно он добился освобождения Бродского, обратившись к секретарю, кажется, Архангельского обкома партии, с которым был знаком, и все сетовал, что Бродский недолюбливает (тот был еще жив) его. Но, похоже, просто сам завидовал его славе на Западе серьезного поэта и Нобелевского лауреата. Впрочем, сложные взаимоотношения литераторов таких уровней и масштаба — скорее, норма, чем исключение.

Справедливости ради скажу, что для второго портрета он уже с охотой подбирал костюм, рубашки, а потом сидел и строил физиономию, играл с очками и поворотами головы — словом, всячески пытался мне помочь.

Там, в Палм-Бич, мы с Женей узнали о начале бомбардировки Югославии. Помню, нас обоих потряс факт агрессии: на глазах у всего мира бомбили суверенное государство. Рушились школы и больницы, мосты и электростанции. В новостях показывали, как граждане еще недавно процветающей страны сидят без света. Неожиданно во время одного такого телерепорта позвонила Маша (жена ЕЕ) и сказала, что у них почему-то отключили свет. И в ту же самую минуту Евтушенко начал записывать свой известный стих "В Белграде света нет, нет света в Оклахома" и вскоре прочитал мне его. Я был шокирован почти репортерским отношением Евтушенко к поэзии.

ЕЕ всегда отключался на злободневные события, был как фронтовой корреспондент на передовой. "Поэт — это большое дерево, которое шумит на ветру истории", — говорил он мне.

Как-то в один из дней нашего пребывания во Флориде Евтушенко мне предложил: "Слушай, здесь живет старый белеэмигрант (фамилию я забыл, но что-то очень офицерское, может быть, Оболенский?), давай к нему заедем". Ну, взяли бутылку коньяка и поехали. Нас встретил высокий стройный старик, на вид — 65 — 70 лет, не более. На деле оказалось, что ему уже 80 с гаком: местные научились долго жить или, по крайней мере, искусно скрывают свой возраст. Говорят, в Калифорнии просто нет старых людей, и в самом деле, я их там ни разу не видел.

Так вот, сидим, разговариваем. Женя всячески старается подчеркнуть свою лояльность к белому движению (это он-то, написавший "Братскую ГЭС"). Дескать, любовь к России превыше всего. На мое удивление, старик не знал, кто перед ним и что за стихи пишет. И тут Женя захотелось прочесть ему что-нибудь из самого ударного. Ну, конечно же, "Идут белые снеги..."

Думаю, читал он этот стих в своей жизни миллион раз. А тут — забыл, запнулся! Пришлось мне ему подсказывать. И с великими бывает.

Однажды случилось мне быть на концерте Святослава Рихтера в Ленинградской филармонии. Исполнялась соната Моцарта, когда гений вдруг остановился. Пауза показалась слишком длинной — он сидит, опустив руки. А потом, повернув к залу свою чудную немецкую голову, говорит: "Ну, эту сонату все равно мало кто знает!" — и уходит со сцены... Возвращается через минуту с нотами и... начинает все сначала, открыв страницу на том месте, где застрял ранее. На этот раз все прошло гладко. Правда, в этот несчастливый вечер, чуть позже, у него еще лопнула струна. И он так и доиграл чвакающей струной.

Но вернусь к Евтушенко. В его неуемном характере я убедился еще раз, когда мы возвращались в Нью-Йорк. Мы уже сдали взятый в аренду в аэропорту Палм-Бич автомобиль "Corgolla" и сидели в ожидании посадки, когда неожиданно рейс отложили на пять часов. Я всегда ужасно боюсь куда-нибудь опоздать. Поэтому, узнав о задержке рейса и безропотно посетовав на судьбу, приготовился к долгому ожиданию в чреве аэропорта. Но не тут было. Е. Е. тут же предложил: "А ну, давай возьмем машину назад и поедем прокатимся по округе". Никакие мои предостережения не помогли. Взяв снова напрокат машину, мы понеслись куда глаза глядят. А глядели глаза в сторону обычных магазинов, где "Великий" хотел достать туфли на великую ногу (которой он, к великому сожалению, лишился год





назад). Но не доросла Америка до 49-го размера, во всяком случае, тогда во Флориде нам не удалось найти такие большие башмаки. Отчаявшись обуть поэта, мы переключились на рубашки. Тут-то и начал проявляться известный евтушенковский вкус к пестроте. Подобно Ноздреву, он прицельно выхватывал с полки очередную "цыганскую" рубашку и, как гоголевский персонаж всучивал Чичикову щенков, так он пытался заставить меня ее взять. Молоденькая блондинка-продавщица, поддавшись заразительности игры забавного долговязого русского, помогала ЕЕ в его упорном стремлении разодеть меня по своему разумению. Все мои возражения, что меня выгонят из дома в таком прикиде, не возымели никакого действия. Кончилось тем, что Евтушенко сам уплатил за две сорочки, по его мнению, совершенно мне необходимые. Одна — белая с темно-синей каймой на полукруглом воротнике, другая — небесно-голубого цвета с шикарной вышивкой гладью на всю грудь, более подходящая для ресторана певца или цыганского барона. Так с тех пор и висят они в моем шкафу, ни разу не надеванные. Но и расставаться с этими несвойственными мне предметами одежды не хочется. Ведь они так же особенны и мудрены, как тот, кто мне их подарил. Я их называю "рубашки от Евтушенко", они напоминают мне о тех днях, что мы провели вместе с моим другом-стихотворцем в солнечной Флориде.

В тот день мы еще успели заехать поесть огромных лобстеров в одном колониального вида заведении. Ожидая раков, ЕЕ живо рассказывал о Карибском кризисе (Евтушенко был в те годы собкором "Правды" на Кубе), о том, как Микоян прилетел увещивать Кастро и как тот, вконец обидевшись на советских коммунистов-предателей, забравших свои ракеты с острова Свободы, куда-то исчез на неделю (наверное, в Сьерра-Маэстра) и не появлялся до тех пор, пока Микоян ввиду неожиданной смерти жены не был отозван Хрущевым назад.

По дороге назад в самолете я все думал прочесть ему что-то из своих стихов. Но так и не решился, постеснялся. Теперь жалею.

А в Нью-Йорке нас встречал мой сын Миша. Когда мы все вместе приехали в Квинс к Евтушенко, он достал с полки огромную антологию русской поэзии "Строфы века" и подарил нам. Автограф, оставленный поэтом, гласит:

"Не предвидел Владимир Ильич

То, что мы улизнем на Палм-Бич.

На память дорогим Ирине, Лёне и Мише Гервицам и всем вашим потомкам эту великую книгу от всего сердца.

9 мая 1999 г."

Улизнуть — улизнули, но не навсегда. Однажды мы с Евтушенко были приглашены на обед владельцем гостиницы, в которой проводили время в Палм-Бич. Во Флориде, как обычно, было тепло, все было налегке. Жена хозяйки отеля, довольно молодая женщина, моложе своего супруга лет на 25, пришла в слегка откровенном платье, что было неудивительно, учитывая местный климат. Не усевшись за стол, еще с порога, ЕЕ сразу после представления в присутствии мужа заявил его жене, что он "womanizer", любитель слабого пола, а проще — бабник. Всем стало как-то не по себе, но Марвин, хозяин, добрый и улыбочивый человек, не подал виду, что его удивило заявление великого женолоба. И его жена Филлис умела себя вести и отшучивалась спокойно.

Впрочем, какой скромности можно ожидать от человека, с юных лет купавшегося в лучах не только всесоюзной, а и мировой славы? Тут надо сказать, что в США имя Евгения Евтушенко многим известно. Даже протые американцы, которые, как известно, мало интересуются кем-то и чем-то не американским, знают, кто такой Евтушенко, я неоднократно сталкивался с этим фактом. Конечно, и Филлис, жена Марвина, тоже знала, что за фигура сидит рядом с ней за столом.

Обед между тем проходил в теплой дружеской обстановке. Каких только яств и деликатесов не было в тот вечер на столе: красная и черная икра, белая и красная рыба разных сортов. ЕЕ сидел с нейтральным, если не сказать, постным видом, время от времени перекидываясь репликами с присутствующими на своем чудовищном английском с непреодолимым русским акцентом.

Среди всего радующего глаз изобилия стояло высокое блюдо, на котором в несколько рядов была уложена добрая дюжина разнообразных сыров. ЕЕ сразу как-то любовно подтянул эту "этажерку" к себе поближе и всю трапезу любовно ее "обхаживал".

Мне было занятно наблюдать, как яркая и довольно неглупая дама, будучи не только женой богатого человека, но и являясь вице-президентом крупного банка, среагирует на выходки "гуляки праздного". О, Америка, ты настолько деловая, что не можешь даже на миг подумать о кокетстве, не то что о романе с русским поэтом! Как это не похоже на наших родных отечественных дам. У нас, думаю, помимо прочих есть один грех, грех подобоострастия перед громкими именами, вплоть до уничтожения.

Филлис в тот вечер прошла проверку на "вшивость". Да еще как прошла! На следующий день она заявила мне, что не хочет больше видеть этого человека. Я похолодел внутри: наверное, его нахальные приставания вызвали негодование богатой американки. Доигрался поэт, подумал я и живо вспомнил героиню графа Нулина Прасковью Павловну. Каково же было мое потрясение, когда на мой недоуменный вопрос "Почему?" Филлис ответила: "Леонид, вы видели, как он притянул к себе блюдо с сыром и все сам съел? Его ноги больше не будет в нашем доме". О женщины, кто вас поймет, получит "Нобеля" вне очереди.

Кстати, о Нобеле. В 2000-м, кажется, году Международное пушкинское общество собиралось выдвинуть Евтушенко на премию. Да так и не собрался МОП сделать это. С тех пор автор крылатой фразы "Поэт в России — больше, чем поэт" был трижды удостоен награды в России и Израиле. Правда, рангом ниже Нобелевской премии. Думаю, после вручения этой престижной награды Бродскому, очевидно, ее вряд ли получит еще один поэт из России. А жаль — ЕЕ, как никто другой из живущих ныне, заслуживает ее.

Прорыв, который произошел в русской советской поэзии в 60 — 70-х годах прошлого века с его и его собратьев по перу легкой руки, был и глобальным прорывом в борьбе с тираниями.

Нет, я не имею задачи определить роль и место большого поэта, каким, несомненно, является ЕЕ, в литературе. Мне лишь хотелось поделиться ощущением многоплановости, необычности и вместе с тем — притягательности его фигуры. Общаясь с ним, ни на минуту не забываешь, что перед тобой — крупная личность, и начинаешь смотреть другими глазами на обыденное, обретающее оттенок экстраординарного. Действия отдельных людей и политические процессы сразу попадают в систему градации добра и зла. А для современного многоярусного и склонного порой к жестокости мира — это важное напоминание.

Как-то я заехал за Евтушенко в Квинс-колледж, чтобы вместе отправиться на его встречу с читателями. Идя по территории кампуса, мы говорили о России. В ходе беседы я заметил, что из него получился бы хороший президент России. На что ЕЕ возразил: "Я бы не справился. Я не знаю, как править". На что я ответил, что для этого существует целый штат помощников, во всяком случае, во главе страны был бы порядочный человек.

Потом мы говорили о Советском Союзе. Он спросил меня: "Ты знаешь, что такое выездная комиссия?" Я хорошо знал, что это такое. Рассказал, как перед одной из зарубежных поездок стоял на красном ковре в Василеостровском райкоме партии, перед красноречивым подвыпившим секретарем, который, вперившись в меня взглядом, допытывался, не изменяю ли я жене. Вот что такое советская система.

Тут ЕЕ меня спросил: "А знаешь, что Маяковский спрашивал у Михаила Светлова: "Меня не арестуют?"? А ты читал письмо Марины Цветаевой к Берии? Вот что такое советская система".

Мы пересекли просторный кампус Квинс-колледжа и поехали на очередной творческий вечер Евтушенко.

А все-таки жаль, что ЕЕ не стал президентом. Как Гавел.

Нью-Йорк.
Рисунки автора.